

Хайям, Псалом, Фрост

-1-

Жизнь идёт – не криво и не прямо,
а как надо и заведено.

И луна беспечного Хайяма
смотрит в приоткрытое окно.

Жизнь идёт. Идёт себе упрямо.
Не танцует. Но идёт на свет.

И луна весёлого Хайяма
отсыпает бронзовых монет.

Жизнь прошла. Не скажешь: – Здравствуй, яма!

Роза пахнет. Свищет соловей.

И луна печального Хайяма
так темна – от губ и до бровей.

-2-

Наташе

Есть крупа. Перезимуем,
потому что есть крупа.

А весной поцелуем
деревенского попа.

Я ему целую руку.
Он меня целует в лоб.
Человеческую муку
лучше прочих знает поп.

Он помолится немного.
Скажет мало неспроста –
многословье не для Бога,
не для Господа Христа.

Скажет поп: – Прости его Ты,
Боже, Ты прости раба,
это ведь Твоя работа,
а его душа слаба.

Прожил зиму он, в апреле
помолился, – всё, что смог.
Ты терпел. И все терпели.
Он, как все. Помилуй, Бог.

-3-

Стараюсь быть проще и проще.
Так, грубо-изыскан и прост,
идёт по берёзовой роще
какой-нибудь Роберт Ли Фрост.

Он слышит, как птица стрекочет,
как тучи проходят вдали,
и он отрываться не хочет
от неба вот и от земли.

А в рощице хлопают лужи,
а тучи в туманном дыму.
И будет сегодня на ужин
краюха бессмертья ему.

У ног примостится собака.
Созвездья всю ночь провисят.

Никто не погибнет от рака
в неполных свои пятьдесят.

Guerre de Trente Ans

Ты сыграешь мне на дудке,
дочка мельника нальёт,
о божемской незабудке
тонким голосом споёт.

Долетят до неба ноты,
до Небесного Царя.
Этой ночью гугеноты
заряжали пушки зря.

Всё решится в быстрой схватке.
Тридцать лет, как в мираже,
я лежу в своей палатке
на четвёртом этаже.

Я пишу свои бумаги,
с двух сторон я жгу свечу.
Небо Вены, небо Праги
больше видеть не хочу.

Пусть скорей свеча сгорает,
флейта пусть звучит впотьмах.
Бог уставших забирает,
вынимает из рубах.

Болен век. Я тоже болен.
Поминальный звон сердец.
По иголкам колоколен
босиком идёт Отец.

Босх

Я эмигрирую в страну,
где нужно гульфиком гордиться,
где пролетает в небе птица,
а кажется – идёт ко дну.

Ты ярких красок мне натырь,
смешай их с серостью и пылью –
я в них беду себе натырю,
а там – хоть прямо в монастырь,

прильнуть к монашеской груди-
канаве пахнущею ряской,
прильнув, зайтись такою пляской,
что только койка впереди –

тряпё какое-то швырнут,
потом меня швырнут на койку,
и в горло горькую настойку
рукою грязною вольют.

И монастырский бим-бом-бим,
пока на койке я корячусь,
пока от ненависти прячусь,
мне говорит, что я любим.

To the winter fair

Nataше

Я еду на ярмарку. Выпал снежок.
Скрипит под колёсами лёд голубой.
А где-то в лесу напевает рожок –
"Давно мы не виделись, фея, с тобой!"

Давно он засох, тот венок из травы –
из синей травы и ночной глубины,
из чёрной травы и ночной синевы,
из вздохов и вскриков твоей тишины.

По Англии еду и в толк не возьму –
вокруг лишь одна незнакомая речь.
И словно мой разум в каком-то дыму,
и словно бы разума мне не сберечь.

Какой-то мужик, над столом наклонясь,
царапает буквы чужие о том,
как двое вступили в любовную связь,
как ты мне шептала и сердцем и ртом

про то, что рубашка на мне из травы,
из синей травы и ночной глубины,
из чёрной травы и ночной синевы,
из вздохов и вскриков твоей тишины.

По-русски он пишет? Рожок! Где рожок?
Какая-то песня степная, звуча,
рассыпана белой волною, дружок,
по милым твоим, по британским плечам.

Лошадка бежит и возок дребезжит,
и волчьи глаза просверкали с небес,
огромная степь, как подруга, лежит,
и где он? и где он, мой Шервудский Лес?

Мне так непривычно. А этот толстяк
всё пишет и пишет, и пишет про нас.
И красные звёзды над нами висят
огромною волчьей вселенною глаз.